

Куприн Александр Иванович

Молох

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Куприн Александр Иванович

Молох / Куприн Александр Иванович – М.: Книга по Требованию, 2011. – 78 с.

ISBN 978-5-458-03986-4

Александр Иванович Куприн родился 7 сентября 1870 года в городе Наровчат Пензенской губернии. Учился сначала в кадетском корпусе, а затем в Александровском училище. В 1890 был зачислен в пехотный полк, в котором прослужил 4 года. Выйдя в отставку, поселился в Киеве, позднее переехал в Петербург. Первый свой рассказ "Последний дебют" Куприн опубликовал в 1889 году в "Русском сатирическом листке". Позднее он сотрудничал с газетами "Жизнь и искусство" и "Киевское слово". Приехав в Петербург, Куприн становится редактором сначала "Журнала для всех", а позднее "Мира Божьего". В Петербурге писатель публикует свои наиболее известные вещи: "Поединок", "Гранатовый браслет". Повести "Молох" и "Олеся" вышли в Киеве. В 1919 году Куприн эмигрировал в Париж. Там вышел в свет роман "Жаннета", была написана повесть "Юнкера". В 1937 году Куприн вернулся на родину и 25 августа 1938 года умер.

ISBN 978-5-458-03986-4

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Александр Иванович
Куприн
Молох

I

Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстился по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы.

Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая, точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро беспокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный.

Причиной этому, без сомнения, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия, – привычка, с которой Бобров на днях начал упорную борьбу.

Теперь он сидел у окна и маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и безвкусным. По стеклам зигзагами сбегали капли. Луки на дворе морщило и рябило от дождя. Из окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, с их низкими голыми стволами и серой зеленью. Когда поднимался ветер, то на поверхности озера вздувались и бежали, будто торопясь, мелкие, короткие волны, а листья ветел вдруг подергивались серебристой сединой. Блеклая трава бессильно принимала под дождем к самой земле. Дома ближайшей деревушки, деревья леса, протянувшегося зубчатой темной лентой на горизонте, поле в черных и желтых заплатках – все вырисовывалось серо и неясно, точно в тумане.

Было семь часов, когда, надев на себя клеенчатый плащ с капюшоном, Бобров вышел из дому. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи, во рту – неприятный вкус. Но всего большее действовал на него тот внутренний, душевный разлад, который он примечал в себе с недавнего времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядевшие на жизнь с самой несложной, веселой и практической точки зрения, наверно, осмеяли бы то, что причиняло ему столько тайных страданий, и уж во всяком случае не поняли бы его. С каждым днем в нем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к службе

на заводе.

По складу его ума, по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посвятить себя кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его, и, если бы не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на третьем курсе.

Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал в этом отношении с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения.

Наружность у Боброва была скромная, неяркая... Он был невысоким ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и притом неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть его в сущности некрасивого лица заключалась только в улыбке. Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным.

Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом высоко торчащих в воздухе закопченных труб, – город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось восемь кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха, – восемь огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи и так далее.

Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырыва-

лись, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собою местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе.

Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщичьих зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей – инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов – собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса.

Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал. Иногда, хотя и очень редко – раза три или четыре в год, у него являлось весьма странное, меланхолическое и вместе с тем раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурные осенние утра или по вечерам, во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид, человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными, слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех, бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя

на их упорный труд в то время, когда их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный вид, и за свое тонкое белье, и за три тысячи своего годового жалованья...

II

Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые «пакеты» раскаленной добела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись с страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами.

Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев – Свежевского.

Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой, – не то крадущейся, не то кланяющейся, – с его вечным хихиканьем и потиранием холодных, мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны; в разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника.

– Что это вас, батенька, так давно не видно? – спросил Свежевский; он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. – Все сидите и книжки почитываете? Почитываете все?

– Здравствуйте, – отозвался нехотя Бобров, отымая руку. – Просто мне нездоровилось это время.

– У Зиненко за вами все соскучились, – продолжал многозначительно Свежевский. – Отчего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас справлялся. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой.

– Весьма польщен, – насмешливо поклонился Бобров.

– Нет, серьезно... Говорил, что правление вас очень ценит, как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы, если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не следовало бы отдавать французам выработать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только...

«Сейчас что-нибудь неприятное скажет», – подумал Бобров.

– Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться. Ах, да! – вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский. – Я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать... Директор просил всех быть непременно

но завтра к двенадцатичасовому поезду на вокзале.

– Опять будем встречать кого-нибудь?

– Совершенно верно. Угадайте, кого?

Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, по-видимому, испытывал большое удовольствие, готовясь сообщить интересную новость. – Право, не знаю, кого... Да я и не мастер вовсе угадывать, – сказал Бобров.

– Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста... Ну, хоть так, наугад, кого-нибудь назовите...

Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засуетился еще больше прежнего.

– Ни за что не скажете... Ну, да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина.

Фамилию он произнес с таким откровенным подбострастием, что Боброву даже сделалось противно.

– Что же вы тут находите особенно важного? – спросил небрежно Андрей Ильич.

– Как «что же особенного»? Помилуйте. Ведь он в правлении, что захочет, то и делает: его, как оракула, слушают. Вот и теперь: правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он стройку осматривал – это, кажется, до вас еще было?.. Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к черту. У вас задувка¹ скоро окончится?

– Да, уже почти готова.

– Ну, это хорошо. При нем, значит, и открытие отпразднуем и начало каменных работ. Вы Квашнина самого встречали когда-нибудь?

– Ни разу. Фамилию, конечно, слышал...

– А я так имел удовольствие. Это ж, я вам доложу, такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий, и голос, как труба иерихонская. Но что за умница! Ах, боже мой!.. Во всех акционерных обществах состоит членом правления... получает двести тысяч всего только за семь заседаний в год! Зато уже, когда на общих собраниях надо спасать ситуацию, лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам

черное белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное: он никогда и с делом-то вовсе незнаком, о котором говорит, и берет прямо апломбом. Вы завтра послушаете его, так, наверно, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился, а он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке.

– На-ра-ра-ра-рам! – фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь.

– Да вот... на что лучше... Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водой сияет, – и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает... Обжора он ужасный... и действительно умеет поесть; во всех лучших ресторанах известны битки а La Квашнин. А уж насчет бабья и не говорите. Три года тому назад с ним прекомичный случай вышел...

И, видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал:

– Позвольте... это так смешно... позвольте, я сейчас... в двух словах. Видите ли, как дело было. Приезжает осенью, года три тому назад, в Петербург один бедный молодой человек – чиновник, что ли, какой-то... я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве и каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит в Летний сад, посидеть четверть часа на скамеечке... Ну-с, хорошо. Сидит он три дня, четыре, пять и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины... Они знакомятся. Рыжий, который оказывается Квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет... Однако фамилии ему своей не говорит. Ну-с, хорошо. Наконец однажды рыжий предлагает молодому человеку: «А что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но с уговором – сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться?» А молодой человек как раз в это время чуть с голоду не умирал. «Согласен, говорит, только смотря по тому, какое вознаграждение, и деньги вперед». Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца спаржу едят. Ну-с, хорошо... Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и чуть свет везет куда-то за город, в церковь. Народу никого; невеста уже дожидается, вся закутанная в вуаль, однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шепотом

том: «Вы, кажется, против своей охоты сюда приехали?» А она говорит: «Да и вы, кажется, тоже?» Так они и объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь Квашнину маменьке все-таки мешала совесть... Ну-с, хорошо... Стоят они, стоят... молодой человек-то и говорит: «А давайте-ка удерем такую штуку: оба мы с вами молоды, впереди еще для нас может быть много хорошего, давайте-ка оставим Квашнина на бобах». Девушка решительная и с быстрым соображением. «Хорошо, говорит, давайте». Окончилось венчанье, выходят все из церкви, Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил, да и немалые деньги, потому что Квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет с самым ироническим видом. Те слушают его, благодарят, посаженным папенькой называют, и вдруг оба – прыг в коляску. «Что такое? Куда?» – «Как куда? На вокзал, свадебную поездку совершать. Кучер, пошел!.. « Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом... А то вот однажды... Что это? Вы уже уходите, Андрей Ильич? – прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто.

– Извините, мне некогда, – сухо ответил Бобров. А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал... Мое почтение.

И, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской.